



Ф Е Д О Р

ШАЛЯПИН

МАСКА И ДУША

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

р у с с к а я к л а с с и к а

Эксклюзив: Русская классика

Фёдор Шаляпин

Маска и душа

«Издательство АСТ»

1932

УДК 82-94
ББК 85.335.41(2)6-8

Шаляпин Ф. И.

Маска и душа / Ф. И. Шаляпин — «Издательство АСТ»,
1932 — (Эксклюзив: Русская классика)

ISBN 978-5-17-157571-7

«Маска и душа» – автобиографическая книга, впервые изданная в Париже в 1932 году, спустя десять лет после эмиграции артиста, в которой он рассказывает о своих 40 годах на театральных подмостках. Вы не увидите здесь полную биографию жизни, как писал сам Шаляпин: «...эта (книга) стремится быть аналитической биографией моей души и моего искусства». В ней автор воссоздает картины театральной жизни, рассуждает о работе актера, делится воспоминаниям о России, говорит о людях, с которыми его сталкивала судьба, о том, каково жить вдали от родины...

УДК 82-94
ББК 85.335.41(2)6-8

ISBN 978-5-17-157571-7

© Шаляпин Ф. И., 1932
© Издательство АСТ, 1932

Содержание

Предисловие	6
Часть первая	8
I. Моя родина	8
II. У лукоморья дуб зеленый...	13
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Федор Михайлович Шаляпин

Маска и душа

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Моим детям

Предисловие

Выпуская в свет мою настоящую книгу, я считаю необходимым объяснить, что побудило меня, певца, никогда литературой не занимавшегося, посвятить мои короткие досуги нелегкому для меня труду – писать. Принято, правда, что люди, достигшие значительной известности на каком-нибудь жизненном поприще, в автобиографии или мемуарах рассказывают своим современникам, в каком году они увидели свет, кто родил их, в какой школе они учились или ленились учиться, как звали девушку, внушившую им первое чувство любви, и как они вышли в люди. Одну книгу добровольцам литературы обыкновенно прощают. Но мой случай сложнее. Этот узаконенный первый грех я уже совершил много лет тому назад. И это меня немного пугает. В детстве я любил красть яблоки с деревьев соседнего сада, Первое воровство садовник мне охотно простил, но когда он поймал меня за этим делом второй раз, то больно отодрал. И вот боюсь, как бы мои доброжелатели не сказали:

– Чего это Шаляпин опять вздумал книгу писать? Лучше бы уж он пел...

Может быть, оно так и есть. Но новую мою книгу я задумал под сильным влиянием одного внешнего обстоятельства, которому противостоять было трудно. Недавно исполнилось сорок лет со дня моего первого выступления на театральных подмостках в качестве профессионального певца. В это знаменательное для меня юбилейное утро я сделался немного сентиментален, стал перед зеркалом и обратился к собственному изображению с приблизительно такой, слегка выпренной речью:

Высокоцитимый, маститый Федор Иванович! Хотя Вы за кулисами и большой скандалист, хотя Вы и отравляете существование дирижерам, а все-таки, как-никак, сорок лет Вы верой и правдой пропели... Сорок лет песни! Сорок лет непрерывного труда, который богам, Вас возлюбившим, бывало угодно нередко осенять вдохновением. Сорок лет постоянного горения, ибо вне горения Вы не мыслили и не мыслите искусства. Сорок лет сомнений, и тревог, и восторгов, и недовольства собою, и триумфов – целая жизнь... Каких только путей Вы, Федор Иванович, не исходили за эти годы! И родные Вам проселочные дороги, обсаженные милыми березами, истоптанные лаптями любезных Вашему сердцу мужиков, так чудесно поющих Ваши любимые народные песни; и пыльные улицы провинциальных городов родины, где мещане заводят свои трогательные шарманки и пиликают на немецких гармониках; и блестящие проспекты императорских столиц, на которых гремела музыка боевая; и столбовые дороги мира, по которым, под мелодию стальных колес, мчатся синие и голубые экспрессы. Каких только песен Вы не наслушались. Какие только песни не пели Вы сами!..

Как в таких случаях полагается, оратор поднес мне приятный юбилейный подарок – золотое автоматическое перо, и так я всем этим был растроган, что дал себе слово вспомнить и передумать опыт этих сорока лет и рассказать о нем, кому охота слушать, а прежде всего самому себе и моим детям...

Должен сказать, что нелегко дался же тот путь, о котором я упоминал в моей юбилейной речи, и не всегда с неба, как чудотворная манна, падало мое искусство. Долгими и упорными усилиями достигал я совершенства в моей работе, бережными заботами укреплял я дарованные мне силы. И я искренне думаю, что мой артистический опыт, рассказанный правдиво, может оказаться полезным для тех из моих молодых товарищей по сцене, которые готовы серьезно над собою работать и не любят обольщаться дешевыми успехами. Особенно теперь, когда театральное искусство, как мне кажется, находится в печальном упадке, когда над театром столько мудрят и фокусничают. Я смею надеяться, что мои театральные впечатления, думы и наблюдения представят некоторый интерес и для более широкого круга читателей.

Не менее театра сильно волновала меня в последние годы другая тема – Россия, моя родина. Не скрою, что чувство тоски по России, которым болеют (или здоровы) многие русские люди за границей, мне вообще не свойственно. Оттого ли, что я привык скитаться по всему земному шару, или по какой-нибудь другой причине, а по Родине я обыкновенно не тоскую. Но странствуя по свету и всматриваясь мельком в нравы различных народов, в жизнь различных стран, я всегда вспоминаю мой собственный народ, мою собственную страну. Вспоминаю прошлое, хорошее и дурное, личное и вообще человеческое. А как только вспомню – взгрустну. И тогда я чувствую глубокую потребность привести в порядок мои мысли о моем народе и о родной стороне. Мысли разнообразные и беспорядочные, в разные цвета окрашенные. От иных плохо спится, от иных гордостью зажигаются глаза и радостно бьется сердце. А есть и такие, от которых хочется петь и плакать в одно и то же время. Бешеная, несуразная, но чудная родина моя! Я в разрыве с нею, я оставил ее для чужих краев. На чужбине, оторванные от России, живут и мои дети. Я увез их с собою в раннем возрасте, когда для них выбор был еще невозможен. Почему я так поступил? Как это случилось? На этот вопрос я чувствую себя обязанным ответить. Вот почему я в этой книге уделю немало места воспоминаниям о последних годах моей жизни в России, которая в эти годы называлась уже не просто Россией, а Социалистической и Советской...

Магический кристалл, через который я Россию видел, – был театр. Все, что я буду вспоминать и рассказывать, будет так или иначе связано с моей театральной жизнью. О людях и явлениях жизни я собираюсь судить не как политик или социолог, а как актер, с актерской точки зрения. Как актеру, мне прежде всего интересны человеческие типы – их душа, их грим, их жесты. Это заставит меня иногда рассказывать подробно незначительные как будто эпизоды. В деталях и орнаментах для меня заключается иногда больше красок, характера и жизни, чем в самом фасаде здания. Этот милый киевский полицейский пристав, дающий мне деловую аудиенцию в ванной, по горло погруженный в воду, и в этом своем безыскусственном положении угощающий меня в не совсем урочный час водкой; этот чудной скверный комиссар, который в два часа ночи будит меня телефонным звонком, чтобы сказать мне, что он хочет непременно и безотлагательно со мною чокнуться и закусить семгой – как не уделить им минуты внимания? Они не менее мне интересны, чем великий князь на спектакле Эрмитажного театра, чем первый министр в дворцовом кабинете, чем главнокомандующий армией в своем подвижном салон-вагоне. Это такие же российские люди, такие же актеры на русской сцене, хотя и в различных ролях.

Выше я упоминал о моей первой книге. Хочу в нескольких словах пояснить, чем моя настоящая книга отличается от той. В «Страницах жизни», написанных много лет назад в России, я дал полный очерк моего детства, но лишь чрезвычайно бегло и неполно осветил мою артистическую карьеру и мое художественное развитие. События, о которых я рассказываю в первой книге, относятся, главным образом, к периоду, предшествующему 1905 г. В настоящей книге я пытаюсь дать полный очерк моей жизни до настоящего дня. Я тщательно избегаю повторений и упоминаю об иных внешних событиях, рассказанных в первой книге, только мимоходом и лишь постольку, поскольку это необходимо для последовательного анализа моей художественной эволюции. Первая книга является, таким образом, внешней и неполной биографией моей жизни, тогда как эта стремится быть аналитической биографией моей души и моего искусства.

Если автору уместно говорить о качестве своего труда, то я позволю себе указать только на то, что в моей работе я стремился прежде всего к полной правдивости. Я выступаю перед читателем без грима...

Часть первая

I. Моя родина

1

В былые годы, когда я был моложе, я имел некоторое пристрастие к рыбной ловле. Я оставлял мой городской дом, запасался удочками и червяками и уходил в деревню на реку. Целые дни до позднего вечера я проводил на воде, а спать заходил куда попало, к крестьянам. В один из таких отлетов я устроился в избе мельника. Однажды, придя к мельнику ночевать, я в углу избы заметил какого-то человека в потасканной серой одежде и в дырявых валяных сапогах, хотя было это летом. Он лежал на полу с котомкой под головой и с длинным посохом под мышкой. Так он и спал. Я лег против двери на разостланном для меня сене. Не спалось. Волновала будущая зари. Хотелось зари. Утром рыба хорошо клюет. Но в летнюю пору зари долго ждать не приходится. Скоро начало светать. И с первым светом серый комок в валенках зашевелился, как-то крякнул, потянулся, сел, зевнул, перекрестился, встал и пошел прямо в дверь. На крыльце он подошел к рукомойнику – к незатейливой посудине с двумя отверстиями, висевшей на веревочке на краю крыльца. С моего ложа я с любопытством наблюдал за тем, как он полил воды на руки, как он смочил ею свою седую бороду, растер ее, вытерся рукавом своей хламиды, взял в руки посох, перекрестился, поклонился на три стороны и пошел.

Я было собирался со стариком заговорить, да не успел – он ушел. Очень пожалел я об этом, и захотелось мне хотя бы взглянуть на него еще один раз. Чем-то старик меня к себе привлек. Я привстал на колени, облокотился на подоконник и открыл окошко. Старик уходил вдаль. Долго смотрел я ему вслед. Фигура его, по мере того, как он удалялся, делалась меньше, меньше и, наконец, исчезла вся. Но в глазах и в мозгу моем она осталась навсегда, живая.

Это был странник. В России испокон веков были такие люди, которые куда-то шли. У них не было ни дома, ни крова, ни семьи, ни дела. Но они всегда чем-то озабочены. Не будучи цыганами, вели цыганский образ жизни. Ходили по просторной русской земле с места на место, из края в край. Блуждали по подворьям, заходили в монастыри, заглядывали в кабаки, тянулись на ярмарки. Отдыхали и спали где попало. Цель их странствований угадать было невозможно. Я убежден, что если каждого из них в отдельности спросить, куда и зачем он идет, – он не ответит. Не знает. Он над этим не думал. Казалось, что они чего-то ищут. Казалось, что в их душах жило смутное представление о неведомом каком-то крае, где жизнь праведнее и лучше. Может быть, они от чего-нибудь бегут. Но если бегут, то, конечно, от тоски – этой совсем особенной, непонятной, невыразимой, иногда беспричинной русской тоски.

В «Борисе Годунове» Мусоргским с потрясающей силой нарисован своеобразный представитель этой бродяжной России – Варлаам. На русской сцене я не видел ни одного удовлетворительного Варлаама, и сам я не в совершенстве воплощал этот образ, но настроение персонажа я чувствую сильно и объяснить его я могу. Мусоргский с несравненным искусством и густотой передал бездонную тоску этого бродяги – не то монаха-расстриги, не то просто какого-то бывшего церковного служителя. Тоска в Варлааме такая, что хоть удавись, а если удавиться не хочется, то надо смеяться, выдумать что-нибудь этакое разгульно-пьяное, будто бы смешное. Удивительно изображен Мусоргским горький юмор Варлаама – юмор, в котором чувствуется глубокая драма. Когда Варлаам предлагает Гришке Отрепьеву с ним выпить и повеселиться и когда он на это получает от мальчишки грубое: «Пей, да про себя разумеи!» –

какая глубокая горечь звучит в его реплике: «Про себя! Да что мне про *себя* разуместь? Э-эх!...» Грузно привалившись к столу, он запекает веселые слова – в миноре:

Как едет ён, да погоняет ён,
Шапка на ём торчит, как рожон...

Это не песня, а тайное рыдание.

Русские актеры обыкновенно изображают Варлаама каким-то отвратительным алкоголиком, жрущим водку. В его страхе перед полицейским приставом актерам обыкновенно мерещится преступность Варлаама: темное за ним, дескать, дело – он боится, как бы его не арестовали. Едва ли это так. Боится ареста? Да он уже арестован, всей своей жизнью арестован. Может быть, он в самом деле уголовный. Зарезал. Плут-то он во всяком случае. Но не в этом суть Варлаама. «Что мне про себя разуместь?» – значит, *что* я и *кто* я такой? Отлично про себя разумею, что я мразь. Душа Варлаама изранена сознанием своего ничтожества. Куда бы ни ступил он, непременно провалится – в сугроб или в лужу.

Литва ли, Русь ли,
Что гудок, что гусли...

Куда бы он ни пошел, он идет с готовым сознанием, что никому он не нужен. Кому нужна мразь?.. Вот и ходит Варлаам из монастыря в монастырь, занимается ловлей рыбы, может быть, в соловецкой обители, шатается из города в город вприскок за чудотворной иконой по церковным городским приходам. В горсточке держит свечку восковую, чтобы ее не задуло, и орет сиплым басом, подражая протоиереем: «Сокрушите змия лютого со два на десятью крылами хоботы». От него пахнет потом, и постным маслом, и ладаном. У него спутана и всклокочена седая борода, на конце расходящаяся двумя штопорами. Одутловатый, малокровный, однако с сизо-красным носом, он неперенный посетитель толкучего рынка. Это он ходит там темно-серый, весь поношенный и помятый, в своей стеганой на вате шапке, схожей с камилавкой. Это он зимою «жрет» в обжорном ряду толчка, если есть на что жрать, требуху из корчаги, на которой обыкновенно сидит толстая, одетая в несколько кофт, юбок и штанов торговка: бережет тепло требухи. Это он рассказывает своим трактирным надоедателям, как и за что выгнали его из последнего монастыря:

– Заиокал, заиокал, заиокал и заплясал в коридоре обители божьей. Прыгал пьяный, в голом виде, на одной ноге... А архиерей по этому коридору к заутрене!

Выгнали...

Когда Варлаам крестится, он крестит в сердце своем пятно тоски, пятно жизни. Но ничем не стирается оно: ни пляской, ни иоканием, ни песней... И всего только у него утешения, что читать или петь: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененнии, и аз успокою вы». Он знает, что он не труждающийся, но он искренно думает, что он обремененный... Да еще подкрепляет он себя опиумом собственного изобретения: есть, дескать, какой-то пуп земли, где живут праведники и откуда его, горемычного, не прогонят... Не знаю, конечно, нужны ли такие люди, надо ли устроить так, чтобы они стали иными, или не надо. Не знаю. Одно только я скажу: эти люди – одна из замечательнейших, хотя, может быть, и печальных красок русской жизни. Если бы не было таких монахов, было бы труднее жить Мусоргскому, а вместе с ним – и нам всем...

Бездонна русская тоска. Но вдумываясь в образы, которые мне приходилось создавать на русской сцене, я вижу безмерность русского чувства вообще – какое бы оно ни было. Вот в «Хованщине» я вижу религиозный фанатизм. Какой же этот фанатизм сильный и глубокий! Холодному уму непостижимо то каменное спокойствие, с каким люди идут на смерть во имя

своей веры. Стоят у стенки таким образом, что и не думают, повернуть ли им назад. Они головой прошибут стену и не заметят, что им больно... В «Псковитянке» Римского-Корсакова я изображаю Ивана Грозного. Какое беспредельное чувство владычества над другими людьми и какая невообразимая уверенность в своей правоте. Нисколько не стесняется Царь Иван Васильевич, если река потечет не водой, а кровью человеческой.

«И яко да злодеяния бесовския испраздниши. И учеником своим власть давай, еже наступити на змия и скорпия, и на всю силу вражию».

И наступал...

Великая сила в Борисе Годунове, этой наиболее симпатичной мне личности во всем моем репертуаре. Но этот бедняга, хоть и властный Царь, как огромный слон окружен дикими шакалами и гиенами, низкая сила которых его в конце концов одолеет. Инстинктивно чувствуя слоновую силу Бориса и боясь этой силы, бояре ходят вокруг да около с поджатыми хвостами, щелкая зубами. Но они смирны только до поры до времени. В удобную минуту трусливая, но хитрая, анархическая и хищная свора растерзает слона. И опять-таки с необузданной широтой развернется русский нрав в крамольном своеволии боярства, как и в деспотии Грозного.

Размахнется он за все пределы и в разгульном бражничестве Галицкого в великолепном произведении Бородин «Князь Игорь». Распутство Галицкого будет таким же беспросветно крайним, как и его цинизм. Не знает как будто никакой середины русский темперамент.

2

Игра в разбойники привлекательна, вероятно, для всех детей повсюду, во всем мире. В ней много романтического – враг, опасность, приключения. Но особенно любима эта игра российскими детьми. Едва ли где-нибудь в другой стране разбойники занимают такое большое место в воображении и играх детей, как у нас. Может быть, это потому так, что в России всегда было много разбойников и что в народной фантазии они срослись с величественной декорацией дремучих лесов России и великих российских рек. С образом разбойника у русского мальчишки связано представление о малиновом кушаке на красной рубахе, о вольной песне, о вольной, широкой, размашистой жизни. Быть может, это еще так и потому, что в старые времена, когда народ чувствовал себя угнетенным барами и чиновниками, он часто видел в разбойнике-бунтаре своего защитника против господского засилья. Кто же из разбойников особенно полюбился России? Царь-разбойник, Стенька Разин. Великодушный и жестокий, бурный и властный, Стенька восстал против властей и звал под свой бунтарский стяг недовольных и обиженных. И вот замечательно, что больше всего в Разине легенда облюбовала его дикий романтический порыв, когда он, «веселый и хмельной», поднял над бортом челна любимую персидскую княжну и бросил ее в Волгу-реку – «подарок от донского казака», как поется о нем в песне. Вырвал, несомненно, из груди кусок горячего сердца и бросил за борт, в волны... Вот какой он, этот популярный русский разбойник!

Я, конечно, далек от мысли видеть в Степане Тимофеевиче Разине символический образ России. Но правда и то, что думать о характере русского человека, о судьбах России и не вспомнить о Разине – просто невозможно. Пусть он не воплощает России, но не случайный он в ней человек, очень сродни он русской Волге... Находит иногда на русского человека разинская стихия, и чудные он тогда творит дела! Так это для меня достоверно, что часто мне кажется, что мы все – и красные, и белые, и зеленые, и синие – в одно из таких Стенькиных наваждений взяли да и сыграли в разбойники, и еще как сыграли – до самозабвения! Подняли над бортом великого русского корабля прекрасную княжну, размахнулись по-разински и бросили в волны... Но не персидскую княжну на этот раз, а нашу родную мать – Россию... «Подарок от донского казака».

Развелись теперь люди, которые готовы любоваться этим необыкновенно романтическим жестом, находя его трагически-прекрасным. Трагическую красоту я вообще чувствую и люблю, но что-то не очень радуется душа моя русскому спектаклю. Не одну романтику вижу я в нашей игре в разбойники. Вижу я в ней многое другое, от романтизма очень далекое. Рядом с поэзией и красотой в русской душе живут тяжкие, удручающие грехи. Грехи, положим, общечеловеческие – нетерпимость, зависть, злоба, жестокость, но такова уже наша странная русская натура, что в ней все, дурное и хорошее, принимает безмерные формы, сгущается до густоты необычной. Не только наши страсти и наши порывы напоминают русскую метель, когда человека закружит до темноты; не только тоска наша особенная – вязкая и непролазная; но и апатия русская какая-то, я бы сказал, пронзительная. Сквозная пустота в нашей апатии, ни на какой европейский сплин не похожая. К ночи такой пустоты, пожалуй, страшно делается.

Не знает как будто середины русский темперамент. До крайности интенсивны его душевные состояния, его чувствования. Оттого русская жизнь кажется такой противоречивой, полной всяких контрастов. Противоречия есть во всякой человеческой душе. Это ее естественная светотень. Во всякой душе живут несходные чувства, но в срединных своих состояниях они мирно уживаются рядом в отличном соседстве. Малые, мягкие холмы не нарушают гармонии пейзажа. Они придают ему только больше жизни. Не то цепь высоких и острых гор – они образуют промежуточные бездны. Бездны эти, положим, только кажущиеся – это ведь просто уровень почвы, подошвы гор, но впечатление все-таки такое, что земля подверглась конвульсиям.

Быть может, это от некоторой примитивности русского народа, оттого, что он еще «молод», но в русском характере и в русском быту противоречия действительно выступают с большей, чем у других, резкостью и остротой. Широка русская натура, спору нет, а сколько же в русском быту мелочной, придирчивой, сварливой узости. Предельной нежностью, предельной жалостью одарено русское сердце, а сколько в то же время в русской жизни грубой жестокости, мучительного озорства, иногда просто бесцельного, как бы совершенно бескорыстного. Утончен удивительно русский дух, а сколько порою в русских взаимоотношениях топорной нечуткости, и оскорбительной подозрительности, и хамства... Да, действительно ни в чем, ни в хорошем, ни в дурном, не знает середины русский человек.

Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил...

И когда, волнуясь, стоишь на сцене перед публикой, освещенный рампой, и изображаешь это сам или видишь это вокруг себя, то болезненно чувствуешь каждое малейшее такое прикосновение к своей коже, как лошадь чувствует муху, севшую на живот.

3

И все-таки звенит звездным звоном в веках удивительный, глубокий русский гений. Я терпеть не могу национального бахвальства. Всякий раз, когда я восхищаюсь чем-нибудь русским, мне кажется, что я похож на того самого генерала от инфантерии, который по всякому поводу и без всякого повода говорит:

– Если я дам турке съесть горшок гречневой каши с маслом, то через три часа этот турка на тротуаре, на глазах у публики, погибнет в страшных судорогах.

– А вы, Ваше Превосходительство, хорошо переносите гречневую кашу?

– Я?! С семилетнего возраста, милостивый государь, перевариваю гвозди!..

Не люблю бахвальства. Но есть моменты, когда ничего другого сказать нельзя и вообразить ничем иным нельзя, как именно звездным звоном, дрожащим в небесах, этот глубокий, широкий и вместе с тем легчайший русский гений...

Только подумайте, как выражены свет и тень у российского гения Александра Сергеевича Пушкина. В «Каменном госте» мадридская красавица говорит:

Приди! Открой балкон. Как небо тихо.
Недвижим теплый воздух, ночь лимоном
И лавром пахнет, яркая луна
Блестит на синеве густой и темной,
И сторожа кричат протяжно, ясно!..
А далеко, на севере – в Париже,
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет и ветер дует...

Далеко, на севере – в Париже. А написано это в России, в Михайловском Новгородской губернии, в морозный, может быть, день, среди сугробов снега. Оттуда Пушкин, вообразив себя в Мадриде, почувствовал Париж далеким, *северным!*..

Не знаю, играл ли Александр Сергеевич на каком-нибудь инструменте. Думаю, что нет. Ни в его лирике, ни в его переписке нет на это, кажется, никаких указаний. Значит, музыкантом он не был, а как глубоко он почувствовал самую душу музыки. Все, что он в «Моцарте и Сальери» говорит о музыке, в высочайшей степени совершенно. Как глубоко он почувствовал Моцарта – не только в его конструкции музыкальной, не только в его контрапунктах или отдельных мелодиях и гармонических модуляциях. Нет, он почувствовал Моцарта во всей его глубокой сущности, в его субстанции. Вспомните слова Моцарта к Сальери:

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать, никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни.

Так именно, а не иначе мог говорить Моцарт. Пушкин не сказал: «силу *мелодии*», это было бы для Моцарта мелко. Он сказал: «силу *гармонии*». Потому что как ни поют звезды в небесах, какие бы от них ни текли мелодии, суть этих мелодий, песен и самых звезд – гармония.

Все противоречия русской жизни, русского быта и русского характера, образцы которых читатель не раз встретит в моих рассказах, находят, в конце концов, высшее примирение в русском художественном творчестве, в гармонических и глубоких созданиях русского гения.

II. У лукоморья дуб зеленый...

4

Я иногда спрашиваю себя, почему театр не только приковал к себе мое внимание, но заполнил целиком все мое существо? Объяснение этому простое. Действительность, меня окружавшая, заключала в себе очень мало положительного. В реальности моей жизни я видел грубые поступки, слышал грубые слова. Все это натурально смешано с жизнью всякого человека, но среда казанской Суконной слободы, в которой судьбе было угодно поместить меня, была особенно грубой. Я, может быть, и не понимал этого умом, не отдавал себе в этом ясного отчета, но, несомненно, как-то это чувствовал всем сердцем. Глубоко в моей душе что-то необъяснимое говорило мне, что та жизнь, которую я вижу кругом, чего-то лишена. Мое первое посещение театра ударило по всему моему существу именно потому, что очевидным образом подтвердило мое смутное предчувствие, что жизнь может быть иною – более прекрасной, более благодной.

Я не знал, кто были эти люди, которые разыгрывали на сцене «Медею» или «Русскую свадьбу», но это были для меня существа высшего порядка. Они были так прекрасно одеты! (Одеты они были, вероятно, очень плохо.) В каких-то замечательных кафтанах старинных русских бояр, в красных сафьяновых сапогах, в атласных, изумрудного цвета сарафанах. Но в особенности прельстили меня слова, которые они произносили. И не самые слова – в отдельности я все их знал, это были те обыкновенные слова, которые я слышал в жизни; прельщали меня волнующие, необыкновенные фразы, которые эти люди из слов слагали. Во фразах отражалась какая-то человеческая мысль, удивительные в них звучали ноты новых человеческих чувств. То главным образом было чудесно, что знакомые слова издавали незнакомый аромат.

Я с некоторой настойчивостью отмечаю эту черту моего раннего очарования театром потому, что мои позднейшие улады искусством и жизнью ничем, в сущности, не отличались от этого первого моего и неопытного восторга. Менялись годы, города, страны, климаты, условия и формы – сущность оставалась та же. Всегда это было умилением перед той волшебной новизной, которую искусство придает самым простым словам, самым будничным вещам, самым привычным чувствам.

Помню, как я был глубоко взволнован, когда однажды, уже будучи артистом Мариинского театра, услышал это самое суждение, в простой, но яркой форме выраженное одной необразованной женщиной. Мне приходит на память один из прекрасных грехов моей молодости. Красивая, великолепная Елизавета! Жизнь ее была скучна и сера, как только может быть сера и скучна жизнь в доме какого-нибудь младшего помощника старшего начальника запасной станции железной дороги в русской провинции. Она была прекрасна, как Венера, и, как Венера же, безграмотна. Но главным достоинством Елизаветы было то, что это была добрая, простая и хорошая русская женщина. Полевой цветок.

Когда я в часы наших свиданий при керосиновой лампе, вместо абажура закрытой обертком газеты, читал ей:

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана, —

то она слушала меня с расширенными зрачками и, горя восторгом, говорила:

– Какие вы удивительные люди, вы – ученые, актеры, циркачи! Вы говорите слова, которые я каждый день могу услышать, но никто их мне так никогда не составлял. Тучка – утес –

грудь – великан, а что, кажется, проще, чем «ночевала», а вот – как это вместе красиво! Просто плакать хочется! Как вы хорошо выдумываете!..

Это были мои собственные мысли в устах Елизаветы. Так именно я чувствовал и думал маленьким мальчиком. Живу я в моей Суконной слободе, слышу слова, сказанные так или иначе, но никак на них не откликается душа. А в театре, кем-то собранные, они приобретают величественность, красоту и смысл...

А тут еще свет, декорации, таинственный занавес и священная ограда, отделяющая нас, суконных слобожан, от «них», героев в красных сафьяновых сапогах... Это превосходило все, что можно было мне вообразить. Это не только удивляло. Откровенно скажу – это подавляло.

Я не знал, не мог определить, действительность ли это или обман. Я, вероятно, и не задавался этим вопросом, но если бы это был самый злокачественный обман, душа моя все равно поверила бы обману свято. Не могла бы не поверить, потому что на занавесе было нарисовано:

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том...

Вот с этого момента, хотя я был еще очень молод, я в глубине души, без слов и решений, решил раз навсегда – принять именно это причастие...

И часто мне с тех пор казалось, что не только слова обыденные могут быть преображены в поэзию, но и поступки наши, необходимые, повседневные, реальные поступки нашей Суконной слободы могут быть претворены в прекрасные действия. Но для этого в жизни, как в искусстве, нужны творческая фантазия и художественная воля. Надо уметь видеть сны.

И снится ей все, что в пустыне далекой —
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горячем
Прекрасная пальма растет...

5

«Медя» и «Русская свадьба», впрочем, не самое первое мое театральное впечатление. Может быть, и не самое решающее в моей судьбе. Первые театральные ожоги я получил в крепкие рождественские морозы, когда мне было лет восемь. В рождественском балагане я в первый раз увидел тогда ярмарочного актера Якова Ивановича Мамонова – известного в то время на Волге под именем Яшки как ярмарочный куплетист и клоун.

Яшка имел замечательную внешность, идеально гармонизировавшую с его амплуа. Он был хотя и не стар, но по-стариковски мешковат и толст – это ему и придавало внушительность. Густые черные усы, жесткие, как стальная дратва, и до смешного сердитые глаза дополняли образ, созданный для того, чтобы внушать малышам суеверную жуть. Но страх перед Яшкой был особенный – сладкий. Яшка пугал, но и привлекал к себе неотразимо. Все в нем было чудно: громоподобный, грубый хриплый голос, лихой жест и веселая развязность его насмешек и издевательств над разинувшей рты публикой.

– Эй вы, сестрички, собирайте тряпички, и вы, пустые головы, пожалте сюды! – кричал он толпе с дощатого балкона его тоже дощатого и крытого холстом балагана.

Публике очень приходились по вкусу эти его клоунады, дурачества и тяжелые шутки. Каждый выпад Яшки вызывал громкий раскатистый смех. Казались Яшкины экспромты и смелыми.

Подталкивая вперед к публике, напоказ, своих актеров – жену, сына и товарищей, Яшка подымал в воздух смешное чучело и орал:

Эй, сторонись, нажём – Губернатора везём...

Целыми часами без устали на морозе Яшка смешил нетребовательную толпу и оживлял площадь взрывами хохота. Я как замороженный следил за Яшкиным лицедейством. Часами простаивал я перед балаганом, до костей дрожал от холода, но не мог оторваться от упоительного зрелища. На морозе от Яшки порою валил пар, и тогда он казался мне существом совсем уже чудесным, кудесником и колдуном.

С каким нетерпением и жадой ждал я каждое утро открытия балагана! С каким обожанием смотрел я на моего кумира. Но как же я и удивлялся, когда после всех его затейливых выходов я видал его в трактире «Палермо» серьезным, очень серьезным и даже грустным за парюю пива и за солеными сухарями из черного хлеба. Странно было видеть печальным этого неистощимого весельчака и балагура. Не знал я еще тогда, что скрывается иногда за сценическим весельем...

Яшка первый в моей жизни поразил меня удивительным присутствием духа. Он не стеснялся кривляться перед толпой, ломать дурака, наряжаясь в колпак.

Я думал: «Как это можно без всякого затруднения, не запинаясь, говорить так складно, как будто стихами?»

Я был уверен к тому же, что Яшку все очень боятся – даже полицейские! Ведь вот, самого губернатора продергивает.

И я вместе с ним мерз на площади, и мне становилось грустно, когда день клонился к концу и представление кончалось.

Уходя домой, я думал: «Вот *это* человек!.. Вот бы мне этак-то».

Но сейчас же у меня замирало сердце: «Куда это мне? Запнусь на первом слове. И выкинут меня к чертям».

И все же я мечтал быть таким, как Яшка. И все же я с моими сверстниками, мальчишками нашей улицы, на дворе или в палисаднике сам старался устроить балаган или нечто в этом роде. Мне казалось, что выходило более или менее хорошо. Но как только к нашему палисаднику подходил серьезный человек с улицы или какая-нибудь баба посторонняя и начинали интересоваться представлением, то при виде этих внеабонементных зрителей я быстро начинал теряться, и вдохновение покидало меня моментально. Я сразу проваливался, к удивлению моих товарищей.

Под влиянием Яшки в меня настойчиво вселилась мысль: хорошо вдруг на некоторое время *не быть самим собою!*.. И вот в школе, когда учитель спрашивает, а я не знаю, я делаю идиотскую рожу... Дома является у меня желание стащить у матери юбку, натянуть ее на себя, устроить из этого как будто костюм клоуна, сделать бумажный колпак и немного разрисовать рожу свою женой пробкой и сажей. Либретто всегда бывало мною заимствовано из разных виденных мною представлений – от Яшки, и казалось мне, что это уже все, что может быть достигнуто человеческим гением. Ничего другого уже существовать не может. Я играл Яшку и чувствовал на минуту, что я – не я. И это было сладко.

Яшкино искусство мне казалось пределом. Теперь, через полвека, я уже думаю несколько иначе. Самое понятие о пределе в искусстве мне кажется абсурдным. В минуты величайшего торжества в такой даже роли, как Борис Годунов, я чувствую себя только на пороге каких-то таинственных и недостижимых покоев. Какой длинный, какой долгий путь! Этапы этого пройденного пути я хочу теперь наметить. Может быть, мой рассказ о них окажется для кого-нибудь поучительным и полезным.

6

Я считаю знаменательным и для русской жизни в высокой степени типичным, что к пению меня поощряли простые мастеровые русские люди и что первое мое приобщение к песне произошло в русской церкви, в церковном хоре. Между этими двумя фактами есть глубокая внутренняя связь. Ведь вот русские люди поют песню с самого рождения. От колыбели, от пеленок. Поют всегда. По крайней мере, так это было в дни моего отрочества. Народ, который страдал в темных глубинах жизни, пел страдальческие и до отчаяния веселые песни. Что случилось с ним, что он песни эти забыл и запел частушку, эту удручающую, эту невыносимую и бездарную пошлость? Стало ли ему лучше жить на белом свете или же, наоборот, он потерял всякую надежду на лучшее и застрял в промежутке между надеждой и отчаянием на этом проклятом чертовом мосту? Уже не фабрика ли тут виновата, не резиновые ли блестящие калоши, не шерстяной ли шарф, ни с того ни с сего окутывающий шею в яркий летний день, когда так хорошо поют птицы? Не корсет ли, надеваемый поверх платья сельскими модницами? Или это проклятая немецкая гармоника, которую с такой любовью держит под мышкой человек какого-нибудь цеха в день отдыха? Этого объяснить не берусь. Знаю только, что эта частушка – не песня, а сорока, и даже не натуральная, а похабно озорником раскрашенная. А как хорошо пели! Пели в поле, пели на сеновалах, на речках, у ручьев, в лесах и за лучиной. Одержим был песней русский народ, и великая в нем бродила песенная хмель...

Сидят сапожнички какие-нибудь и дуют водку. Сквернословят, лаются. И вдруг вот заходят, заходят сапожнички мои, забудут брань и драку, забудут тяжесть лютой жизни, к которой они пришиты, как дратвой... Перекидывая с плеча на плечо фуляровый платок, за отсутствием в зимнюю пору цветов заменяющий вьюн-венчик, заходят и поют:

Со вьюном я хожу,
С золотым я хожу.
Положу я вьюн на правое плечо.
А со правого на левое плечо.
Через вьюн взгляну зазнобушке в лицо.
Приходи-ка ты, зазноба, на крылышко,
На крылечушко тесовенькое,
Для тебя строено новенькое...

И поется это с таким сердцем и душой, что и не замечается, что зазнобушка-то нечаянно – горбатенькая... Горбатого могила исправит; а я скажу – и песня...

А кто не помнит, как в простой народной школе мы все, мальчишки, незатейливо затягивали хором каким-нибудь учителем на песню переведенные чудесные слова Пушкина:

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печальный свет она...

Безмолвными кажутся наши дорогие печальные поляны, особенно в зимнюю пору, но неслышно поют эти поляны, и подпевает им печальная луна. Чем же согреться человеку в волнистых туманах печальных полей в зимнюю пору? Вот тут, кажется мне, и родилась народная песня, которая согревала и сердце, и душу. А разве тусклая даль этих равнин не будила вооб-

ражения, без которого никакая песня и не родится, не плела легенд и не обвивала ими русскую песню?

На ельничке да на березнячке,
Да на чистом горьком осинничке
Ходит ворон-конь,
Три дня не поенный,
А как на травушке да на муравушке
Лежит молодец, сквозь простреленный...

Но не все грустно на бесконечных российских полянах. Много там и птиц прилетает, и ярче, кажется мне, светит солнышко весною, когда растаяли снега, и сильнее чувствуется радость весны, чем в самых теплых странах. А если это так, то как же не зарядиться на тройке и не запеть:

Эх, вдоль по Питерской!..

И как же не улыбнуться до ушей над кумом, который куме своей от сердца притащит судака:

Чтобы юшка была,
А чтобы с юшечкой
И петрушечка,
А с петрушечкой
Целовала чтоб покрепче
Мила душечка.

От природы, от быта русская песня и от любви. Ведь любовь – песня.
У Пушкина:

...Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает.
Но и любовь – мелодия.

Русская любовь поет и на заре, и в темные пасмурные ночи. И в эти пасмурные ночи, вечера и дни, когда стоит туман, и окна, крыши, тумбочки и деревья покрыты инеем, вдруг огромным, нескладным голосом рявкает в ответ песне большой колокол. Дрогнет сумрак, и прольется к сердцу действительно какой-то благовест.

Конечно, многие люди, вероятно, несметно умные, говорят, что религия – опиум для народа и что церковь развращает человека. Судить об этом я не хочу и не берусь потому, что на это я смотрю не как политик или философ, а как актер. Кажется мне, однако, что если и есть в церкви опиум, то это именно – песня. Священная песня, а может быть, и не священная, потому что она, церковная песня, живет неразрывно и нераздельно с той простой равнинной песней, которая, подобно колоколу, также сотрясает сумрак жизни, но лично я, хотя и не человек религиозный в том смысле, как принято это понимать, всегда, приходя в церковь и слыша «Христос воскрес из мертвых», чувствую, как я вознесен. Я хочу сказать, что короткое время я не чувствую земли, стою как бы в воздухе...

А единственная в мире русская панихида с ее возвышенной одухотворенной скорбью?
«Благословен еси господи»...

А это удивительное «Со духи праведных скончавшихся...» А «Вечная память»!

Я не знаю и не интересовался никогда, чем занимаются архиереи в синодах, о каких уставах они спорят. Не знаю, где и кто решает, у кого Христос красивее и лучше – у православных, у католиков или у протестантов. Не знаю я также, насколько эти споры необходимы. Все это, может быть, и нужно. Знаю только, что «Надгробное рыдание» выплакало и выстрадало человечество двадцати столетий. Так это наше «Надгробное рыдание», а то «Надгробное рыдание», что подготовило наше, – не десятки ли тысяч лет выстрадало и выплакало его человечество?.. Какие причудливые сталактиты могли бы быть представлены, как говорят нынче, в планетарном масштабе, если бы были собраны все слезы горестей и слезы радости, пролитые в церкви! Не хватает человеческих слов, чтобы выразить, как таинственно соединены в русском церковном пении эти два полюса радости и печали, и где между ними черта, и как одно переходит в другое, неуловимо. Много горького и светлого в жизни человека, но искреннее воскресение – песня, истинное вознесение – песнопение. Вот почему я так горд за мой певческий, может быть, и несурзный, но певческий русский народ...

7

Так вот, к песне поощрял меня и молодой кузнец, живший рядом с нами на татарском дворе, говоривший мне:

– Пой, Федя, пой! Будешь веселее от песни. Песня, как птица, – выпусти ее, она и улетит.

Поощрял к песне и каретный мастер-сосед, в бричках и колясках которого, так сладко пахнувших кожей и скипидаром, я не раз проводил летние ночи, засыпая с песней.

Поощрял меня к песне и другой сосед – скорняк, вознаграждая меня пятаком за усердную мою возню с его ласковыми и мягкими шкурками:

– Пой, Федя, пой!

Да меня, правду сказать, и просить-то особенно не надо было. Пелось как-то само собой. Певал я часто с матушкой моей, она была очень милой домашней песельницей. Голос был простой деревенский, но приятный. И мы часто голосили с ней разные русские песни, подлаживая голоса. Пелось мне, говорю, само собою, и все, что пело, меня привлекало и радовало.

Катался я как-то зимой на деревянном коньке на площади в Казани. Стояла там великолепная старинная церковь Св. Варлаама. Смерз. Хотелось согреться, и с этим мирским намерением я вошел в церковь. Шла вечерняя или всенощная. И тут услышал я, как поет хор. В первый раз в жизни я услышал стройный напев, составленный из разных голосов. И пели они не просто в унисон или в терцию, как я пел с моей матерью, а звуки были скомбинированы в отличном гармоническом порядке. (Я бы, конечно, не мог тогда так это понять и объяснить словами, но такое у меня получилось бессловесное впечатление.) Это было для меня изумительно и чудесно. Когда я подошел поближе к клиросу, то я, к моему удивлению, увидел впереди стоящих мальчиков такого же приблизительно возраста, как я сам. Мальчики эти держали перед собой какую-то загадочно разграфленную бумагу и, заглядывая в нее, выводили голосами приятнейшие звуки. Я разинул от удивления рот. Послушал, послушал и задумчивый пошел домой.

Поют ровесники, такие же малыши, как я. Почему бы и мне не петь в хору? Может быть, и я бы мог голосом выводить стройные звуки. Надоел я дома этими звуками до смерти всем, а главным образом матери. У меня был дискант!

Скоро случай действительно помог мне вступить в духовный хор. Какое было острое наслаждение узнать, что есть на свете ноты и что эти ноты пишутся особыми, до тех пор мне неизвестными знаками. И я их одолел! И мог, заглядывая в чудно разграфленную бумагу, выводить приятные звуки! Не раз, милый Яшка, в эти минуты изменял я душою и тебе, и твоему волшебному балагану, так соблазнительно разрисованному далекими пристанями и замысло-

ватыми зверями... Может быть, я бы долго еще наслаждался радостями хорового пения, но, на беду мою, я в хоре узнал, что не всегда мальчишки поют вместе, что, бывает, иногда в середине песни один какой-нибудь голос поет соло. И я стал стремиться к тому, чтобы получить это соло – как-нибудь, в какой-нибудь пьесе, будь то херувимская или какое-нибудь песнопение Бортнянского, – лишь бы спеть одному, когда все молчат. Но овладеть этим приятным мастерством мне никак не удавалось. Соло-то я получил, но каждый раз, когда наступал момент петь, сердце как-то обрывалось и опускалось ниже своего места от неодолимого страха. Страх отнимал у меня голос и заставлял меня иногда делать ошибки, хотя у меня был слух и музыку я постигал быстро. В такие минуты я с ужасом замечал оскаленные на меня зубы регента, и в следующий раз у меня соло отнимали...

«Осрамился опять!» – думал я. И от этого посрамления я все больше и больше приобретал страх, долго меня не покидавший. Уже будучи четырнадцати- или пятнадцатилетним юношей, когда я всеми правдами и неправдами пролезал за кулисы городского театра, я как-то получил чрезвычайно ответственную роль в одно слово – на вопрос: «Что у тебя в руках?» – я должен был ответить: «Веревочка». «Веревочку» я говорил, но таким тишайшим от страха голосом, что не только публика, но и актер, интересовавшийся тем, что у меня в руках, услышать меня никак не мог. Дирекция моя решила, что способностям моим есть досадный лимит. В этом она убедилась окончательно весьма скоро. Мне поручили другую роль – роль жандарма в какой-то французской детективной веселой комедии с жуликом. От страха я так растерялся, что, будучи вытолкнут на сцену, я не произнес ни одного слова. На меня нашел столбняк. Помню только, что если на сцену меня вытолкнули сравнительно деликатно, то со сцены меня вытолкнули уже без всякой деликатности. Все это, однако, не охлаждало моего театрального пыла. Моих заветных мечтаний не убивало. Не отрезвляло моего безумия. В глубине души я все-таки на что-то еще надеялся, хотя сам видел, что человек я к этому делу неспособный.

Скоро я сделал новое театральное открытие. Узнал новый жанр искусства, который долго держал меня в плену. Это была оперетка.

8

В закрытом театре гремела музыка, пели хоры, и вперемежку актеры то пели какие-то мелодии и вальсы, то говорили между собою прозу. Тут уж я окончательно дался диву. Вот это, думал я, вещь! И поют, черти проклятые, и говорят, и не боятся, и не запинаятся, и не врут, хотя поют в одиночку и вдвоем и даже сразу несколько человек, и каждый разные слова. Какие ловкачи! Куда лучше, чем Яшка. Были новы для меня и особенным блеском поражали костюмы. Не просто кафтаны и щегольские сапоги, а богатство сказочное: зеленые и малиновые камзолы, серебряные чешуи, золотые блески, шпаги, ослепительные перья. Вообще это было в высшей степени благородно. Надо ли говорить о том, как радовался я этому новому постижению сценической красоты. Однако в ближайшее время меня ждал еще более оглушительный сюрприз. В том же самом казанском театре, где у меня так удачно не выходило слово «веревочка», водворилась опера, привезенная знаменитым Петром Михайловичем Медведевым, великолепным российским драматическим актером, режиссером и антрепренером. Была объявлена опера Мейербергера «Пророк», причем на афише было напечатано, что на сцене будет настоящий каток. Разумеется, это была сенсационная приманка для казанской публики, и в том числе для меня. Действительность вполне оправдала обещание афиши. Представьте себе необыкновенность контраста между африканской температурой зрительного зала и рождественским катком на сцене. Я на моей галерке обливаюсь от жары потом, а на подмостках какие-то персонажи скользят по ледяному кругу (вероятно, просто катались на роликах). Но должен признаться, что первый оперный спектакль, мною услышанный, потряс меня не музыкальным великолепием, не величием темы, не даже сенсационным катком – вообще не

качествами, обращенными к моему художественному бескорыстию, а одним побочным обстоятельством весьма низменного, эгоистического свойства. На представлении «Пророка» я сделал открытие, ошеломившее меня своей неожиданностью. На сцене я увидел моих товарищей по церковному хору! Их было одиннадцать мальчиков с избранными голосами. Так же, как старшие певцы, они вдруг становились в ряд на авансцене и вместе с оркестром, сопровождаемые палочкой дирижера, которую он держал в руке, облаченной в белую перчатку, пели:

Вот идет пророк венчанный...

Насилу дождался я конца спектакля, чтобы выяснить эту поразительную историю.

– Когда это вы успели? – спросил я товарищей. – Как ловко вы научились петь в театре. Отчего же вы это мне не сказали и не взяли с собою?

– Ты опять будешь врать, – ответил мне невозмутимо старший из приятелей. – Ну а если хочешь, мы возьмем и тебя. Учи.

Он дал мне ноты. Пения было всего несколько тактов. Я как мог постарался выучить. Приятель провел меня вскоре за кулисы, готовый посвятить меня в хористы, но, к глубокому моему огорчению, для меня не оказалось лишнего костюма. Так я и остался за кулисами, а все-таки подтягивал хору из-за кулис, чтобы, по крайней мере, запомнить как можно лучше эту несложную мелодию. Нехорошо радоваться чужой беде, но не скрою, что когда в одно из представлений мне сказали, что один из хористов заболел и что я могу облачиться в его костюм и выйти вместе с хором на сцену, я соболезнавал болящему весьма умеренно.

Я подумал: услышал господь мою молитву!

Подумал я это потому, что, работая в церковном хоре, я не раз, глядя на лик Христа или какого-нибудь святого, шептал:

– Господи, помоги мне когда-нибудь петь в театре...

Я был счастлив всякий раз, когда мне удавалось увидеть какой-нибудь новый жанр сценического представления. После оперы я однажды узнал, что такое симфонический концерт. Я немало удивился зрелищу, не похожему ни на драму, ни на оперетку, ни на оперу. Человек сорок музыкантов, одетых в белые сорочки с черными галстуками, сидели на сцене и играли. Вероятно, Бетховена, Генделя, Гайдна. Но, слушая их с волнением любопытства, я все же думал: может быть, это и хорошо, а оперетка лучше... Лучше не только симфонического оркестра, но даже оперы. В оперетке все было весело. Актеры показывали смешные положения. Музыка была приятная и понятная. Было забавно и то, что актеры поют, поют и вдруг заговарят. А в опере было досадно, что поют такие хорошие певцы, а оркестр мешает мне их слушать...

Первая опера, одержавшая победу над моим вкусом, была «Фауст» Гуно. В ней была благороднейшая любовь Фауста, была наивная и чистая любовь Зибеля. Эта любовь, конечно, разнилась от той любви, которую я видел в Суконной слободе, но, несмотря на все благородство этих чувств, не они меня поразили и подкупили. В «Фаусте» происходило что-то сверхъестественное – и вот это меня захватило. Вдруг, можете себе представить, из-под полу начали вырываться клубы огня.

«Батюшки, пожар!» – подумал я и уже приготовился бежать, как в эту минуту в испугавшем меня клубке огня отчетливо выросла красная фигура. Обозначился кто-то страшный, похожий на человека, с двумя перьями на шляпе, с остроконечной бородкой, с поднятыми кверху усами и со страшными бровями, которые концами своими подымались кверху выше ушей!

Я оцепенел и от страха не мог сдвинуться с места. Но я совершенно был уничтожен, когда из-под этих бровей мелькнул красный огонь. Всякий раз, когда этот человек мигал, из глаз его сыпались огненные искры.

«Господи Иисусе Христе, – черт!» – подумал я и в душе перекрестился. Впоследствии я узнал, что этот потрясающий эффект достигается тем, что на верхние веки наклеивается кусок фольги. Но в то время тайна фольги была мне недоступна, и во мне зародилась особая театральная мистика.

«Вот этого, – думал я с огорчением, – мне уже не достигнуть никогда. Надо родиться таким специальным существом».

Явление это меня чрезвычайно волновало, и в театральном буфете, видя этого самого человека выпивающим рюмку водки и закусывающим брусникой, я заглядывал ему в глаза и все старался обнаружить в них залежи огненных искр. Но как ни протирал я себе глаз, эти искры заметить я не мог.

– И то сказать, – рассуждал я, – он же в буфете в темном пиджаке, даже галстук у него не красный. Вероятно, он как-то особенно заряжает себя искрами, когда выходит на сцену...

Мне уже было тогда лет пятнадцать, от природы я был не очень глуп, и я, вероятно, мог бы уже и тогда понять, в чем дело. Но я был застенчив: приблизиться к этим богам, творящим на сцене чудеса, мне было жутковато, и никак не мог я рискнуть зайти в уборную какого-нибудь первого актера взглянуть, как он гримируется. Это было страшно. А просто спросить парикмахера, который объяснил бы мне, как это делается, я не догадался. Да и не хотелось мне, откровенно говоря, слишком вдумываться: я был очарован – чего же больше! Удивительный трюк поглотил весь мой энтузиазм. Я уже не вникал в то, хорошая ли это музыка, хороший ли это актер, и даже сюжет «Фауста» менее меня интересовал, а вот искры в глазах казались мне самым великим, что может быть в искусстве.

В это приблизительно время я впервые поставил себе вопрос о том, что такое театр, и должен признаться, что мысль о том, что театр нечто серьезное, нечто высокое в духовном смысле, мне не приходила в голову. Я обобщил все мои театральные впечатления в один неоспоримый для меня вывод. Театр – развлечение, более сложная забава, чем Яшкин балаган, но все же только забава. И опера? И опера. И симфонический концерт? И симфонический концерт. Какая же между ними разница? А та, что оперетка развлечение более легкое и более приятное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.